

БОРИС КРИГЕР



**АБСУРД
КАК ФОРМА
МИЛОСТИ**

БОРИС КРИГЕР

АБСУРД
КАК ФОРМА
МИЛОСТИ



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to kriegerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Абсурд как форма милости

Книга представляет собой философское размышление, в котором абсурдность бытия не рассматривается как ошибка или отклонение от нормы, а напротив — как фундаментальная структура реальности. Абсурд здесь не случайная нелепость, а онтологическая константа: он пронизывает личную и коллективную жизнь, отношения, политику, культуру, саму природу мира. Центральная идея заключается в том, что стремление к смыслу и порядку неизбежно сталкивается с молчанием и равнодушием бытия, и именно это несоответствие не требует преодоления, а может быть принято как форма существования. Такое принятие абсурда, в свою очередь, становится источником тихой, негероической свободы, в которой исчезает нужда быть понятным, правым, эффективным или успешным.

Вместо попыток построить прочные структуры поверх зыбкой реальности, текст предлагает мягкое вживление в среду абсурда, где ценность обретает само присутствие, жест без причины, чувство без объяснения. Здесь исчезают внешние судьи и внутренние долги — не как отказ от этики, а как приглашение к бытию без оценки. Любовь, молитва, вера, действие и даже смех лишаются своих привычных функций и становятся чистыми формами участия, не требующими оправданий. Так, абсурд превращается не в источник отчаяния, а в форму милости: он не освобождает от боли, но снимает необходимость искать ей смысл.

АБСУРД КАК ФОРМА МИЛОСТИ

Все мы — миллиарды людей, разбросанных по поверхности этой в доску родной планеты, в конечном счёте являемся свидетелями всё более очевидного абсурда происходящего. Именно абсурд пронизывает каждое мировое событие, каждую мысль, каждую попытку сказать, что происходит, кто мы такие и зачем живём. С каждым годом абсурд становится всё более зримым, словно сбрасывает маски, перестаёт скрываться за утешительными формами. То, что ещё недавно казалось исключением, сегодня стало фоном: события теряют логику, слова — вес, истины — прочность. Но стоит всмотреться в прошлое, как становится ясно — так было всегда. Абсурд не проявился внезапно. Он не вторгся извне и не возник как сбой. Он присутствовал всегда, то затихая, то усиливаясь, проходил сквозь века, прячась под слоями веры, идеологии, порядка, но никогда не исчезая.

Абсурд проявляется на всех уровнях. На личном уровне — в экзистенциальной невозможности свести жизнь к ясному смыслу: рождение, не имеющее причины, желания, которым не суждено быть удовлетворёнными, смерть, не поддающаяся примирению. Ни одна из этих точек не даёт опоры, не объясняется, не замыкается в завершённый круг.

Абсурд царствует в семейных отношениях, где двое, клявшиеся быть вместе навсегда, через годы смотрят друг на друга с холодом, как на посторонних, и не могут объяснить, что случилось. Абсурд в ревности, где любовь превращается в страх, собственничество, скрытое

насилие — как будто можно удержать чувства силой. Абсурд в той неприязни, которая возникает между близкими, даже когда никто ничего не сделал дурного. Абсурд — в уровне разводов, который только подтверждает: даже самые искренние намерения не гарантируют ничего. Двоим не дано знать, смогут ли они остаться рядом. Семья — не крепость, а хрупкий договор, постоянно под угрозой развала, без ясных причин, без виноватых.

Абсурд возникает и между родителями и детьми — в этой странной связи, где любовь и раздражение, нежность и отчуждение существуют рядом. Родители, стремясь передать «лучшее», навязывают страхи. Дети, не понимая причин, отдаляются. Ожидания с обеих сторон не совпадают, и даже в самых близких отношениях оказывается: каждый живёт в своём мире, и никто не знает, как правильно. Семья — это не про ясность, а про постоянную непредсказуемость, где роли сменяются, чувства путаются, а ответы не приходят.

В политике абсурд становится откровенным. Лидеры, которые говорят о народе, служат интересам систем, которым народ безразличен. Решения, принимаемые от имени миллионов, оказываются продиктованы страхом, выгодой, случайностью. На geopolитическом уровне страны говорят о мире, вкладывая миллиарды в оружие, о сотрудничестве — при этом деля сферы влияния. Мир управляет не разумом, а сочетанием амбиций, лжи и недоразумений. Иногда одно слово, произнесённое в неудачный момент, запускает череду событий, которые никто уже не может остановить. Люди гибнут не за идею, а потому что в овальных кабинетах что-то не сошло.

Наука, казавшаяся приближением к истине, часто оказывается лишь новой формой игры. Исследования строятся не по логичной необходимости, а по грантам, модам, рейтингам. Каждый прорыв оборачивается новыми вопросами, а сам человек в этой системе — не ищущий, а вынужденный публиковаться как можно чаще. Даже в точности — элемент случайности, в стройных теориях — пробелы. Искусство, призванное выражать подлинное, всё чаще воспроизводит пустоту, становится жестом без содержания, шумом в надежде на внимание. Признание даётся не тем, кто глубже, а тем, кто громче. Критика заменяется алгоритмами, талант — сетями связей.

Так и вся жизнь оказывается пронизанной этим — в отношениях, в работе, в культуре, в мечтах. Мир, построенный как будто по плану, на самом деле держится на хрупком равновесии случайного, нелогичного, неоправданного. Мы продолжаем называть себя человек разумный, хотя точнее было бы — человек абсурдный. Потому что разум ищет структуру, а живёт внутри того, что не поддаётся структуре. Мы стремимся к смыслу, но находим только его временные подобия. Мы строим системы, но сами же их разрушаем. Мы не знаем, зачем здесь — и, несмотря на это, продолжаем жить, любить, ссориться, искать. Именно это и делает человека — не героем, не мыслителем, а существом, которое тонет в абсурде, не осознавая почему.

А если всмотреться в то, что лежит за пределами человеческого сознания, открывается космологический абсурд — в молчаливом холоде пространства, в необозримом равнодушии материи, в невозможности найти смысл во вселенной, в которой ничто не держится на необходимом.

Поэтому абсурд — не случайность и не болезнь порядка, а его основа, его первичная ткань. Он не угроза, а главное свойство мироздания, будучи вплетён в само бытие, определяет его суть и форму. И с этим что-то надо делать. Нельзя выстроить смысл поверх абсурда. Нельзя бороться, ибо нет противника. Нельзя спастись, ибо не от чего спасаться.

Остаётся только одно: стать рыбой в океане абсурда. Не искать берега, не выпрямлять траекторию, не стремиться наверх. Просто быть в этой среде — чувствовать течение, различать глубину, двигаться не к цели, а внутри. Не сдаваться, но и не сопротивляться. Плыть, не пытаясь выбраться. Жить, не надеясь объяснить.

Абсурд — это фундаментальное несоответствие между стремлением человека к смыслу, порядку и ясности и равнодушной, хаотичной, непостижимой природой мира, в котором он существует. Это состояние внутреннего столкновения, возникающего, когда жажда объяснения и цели сталкивается с молчанием бытия, не дающим ни ответа, ни утешения.

Абсурд — не просто логическая нелепость и не бытовая странность, а глубокое, экзистенциальное переживание беспочвенности всего происходящего. Он возникает там, где рушатся привычные объяснительные схемы, где

реальность перестаёт подчиняться ожиданиям, где мышление доходит до края — и не находит, на что опереться.

Абсурд не требует решения. Он не есть задача, а условие. Он не враг, а данность. Его невозможно устраниТЬ — можно только признать. И уже из этого признания вырастает новая форма свободы — жить, зная, что никакого объяснения может не быть вовсе.

В самом устройстве бытия скрыта равнодушная пустота, не заключающая в себе ни намерений, ни цели, ни логики, способной успокоить тревожное стремление к смыслу. Мир, в своей первозданной форме, не несёт обещаний и не стремится быть понятым. Его безучастность не есть жестокость — она лишь отражение полной независимости от человеческих желаний и поисков порядка. Не стоит искать в звёздных скоплениях заботливого разума или в законах физики — справедливость. Всё это — образы, рождённые из нужды наделить происходящее внутренним содержанием, которого в нём от начала не заложено.

Состояние абсурда, будучи не навязанным и не созданным искусственно, существует подобно постоянному фону, на котором разыгрываются индивидуальные драмы и мелкие победы, не имеющие значимости вне субъективного восприятия. Он не нападает, не спорит, не требует ответа. Так же как человек не ведёт борьбу с атмосферным давлением или вращением планеты, точно так же и абсурд не стоит по другую сторону баррикад. Он просто есть — не как

противник, но как среда, внутри которой возможно всё и ничего не гарантировано.

Представление о том, что кто-либо, где-то, должен был обеспечить разумный порядок, возникает не из наблюдения, а из внутренней потребности. Столкнувшись с отсутствием логики в природе вещей, разум не находит иного выхода, кроме как наделять это отсутствие значением. Возникают ожидания: кто-то должен был пообещать, что всё будет справедливо, что страдание что-то значит, что усилия приведут к цели. Но таких обещаний не было — ни написанных в звёздах, ни вложенных в суть вещей. Это лишь внутренний голос, цепляющийся за иллюзию безопасности, за упорядоченный мир, которого никто не гарантировал.

Даже в тех текстах, где от начала до конца звучит надежда на искупление, просматривается глубокое и неотменимое признание того, что сам мир, в котором человек пребывает, не является гармоничным, справедливым или устроенным по разумной логике. В строках Евангелия сквозит осознание того, что порядок здесь — лишь видимость, что зло пронизывает не крайние случаи, а саму ткань повседневного, и что жизнь человеческая протекает не среди ответов, а среди парадоксов. Слова о том, что «весь мир лежит во зле», не только утверждают моральное и духовное несовершенство окружающего, но и подводят к мысли о мире как о пространстве абсурда, где добро не гарантирует победы, страдание не имеет ясного смысла, а вера существует, несмотря на молчание.

Реальность, в которой праведник страдает, а неправедный торжествует, в которой любовь не спасает от боли, а милость не отменяет утрату, со всей очевидностью противоречит идее устроенности. Это не картина мира, где всё объяснимо и расположено по чину, а, скорее, описание сцены, на которой действуют силы, не поддающиеся человеческому разуму. Даже обетование спасения не отменяет этой начальной бездны — оно лишь предлагается на её фоне, как жест, а не как уравнение.

В этом смысле признание абсурдности не есть отрицание веры. Напротив, оно может быть её началом. Вера, которая не требует, чтобы мир был логичен; любовь, которая не требует ответа; надежда, не опирающаяся на гарантии — всё это растёт не на твёрдой почве, а на зыбком, непрочном, где каждое движение — это выбор, а не следствие. И, может быть, именно в том, что мир нелогичен, и заключается его подлинная возможность: здесь всё может произойти, и ничто не обязано.

Жажда безупречности прорастает из тревоги, словно растение, вынужденное тянуться к свету в страхе быть поглощённым темнотой. Внутреннее напряжение, сковывающее движения и мешающее дышать, рождается не из любви к совершенству, а из боязни того, что несовершенное будет отвергнуто, осмеяно, признано недостойным. Перфекционизм — не стремление, а защита, возведённая стенами из контроля, за которыми прячется испуганная душа. Он не предлагает покоя, он лишь отодвигает на время столкновение с хаосом, создавая иллюзию контроля там, где правит случай.

Но когда в сознании укореняется понимание абсурдности мира, этот страх начинает растворяться. Появляется непривычная, но удивительно ясная тишина — та, в которой исчезают требования быть кем-то, соответствовать, доказывать. Смысл, оказавшийся неотъемлемой частью вымысла, перестаёт быть необходимым для того, чтобы продолжать жить. Свобода начинается не с ответа, а с признания того, что ответа может не быть вовсе. Когда исчезает нужда оправдывать своё дыхание, движение, бытие — тогда и возникает пространство для действия без цепей, для выбора без судей.

Абсурд не требует объяснений, он не разбирает, кто виновен, не ведёт счет. В его глазах нет мерила, по которому можно оценить правильность поступка или чистоту намерения. Его непредсказуемость становится прощением, формой милости, даром, лишённым условий. В мире, где ничто не обязано быть понятным, прощение приходит не как акт великодушия, но как естественное следствие беспристрастной неопределённости. Здесь нет приговора — и в этом, без лишнего пафоса, заключена подлинная милость.

Когда привычные объяснения теряют силу, а слова, некогда наполненные уверенностью, обнажают свою пустоту, происходит не крушение, а очищение. Разрушение смыслов, будто обвал старых декораций, освобождает пространство, в котором впервые возможно дышать по-настоящему. Стираются контуры прежних догм, исчезает шум постоянной интерпретации, и на этом опустевшем поле, где всё было выжжено до основания,

начинает пробиваться первый живой опыт — не оформленный, не подчинённый правилам, но существующий сам по себе, не нуждающийся в оправдании.

Абсурд, проникая в тщательно выстроенные здания мысли, размывает их фундамент, как вода, медленно, но неотвратимо вымывающая цемент. Он действует не как агрессор, а как естественный растворитель — в его присутствии каждая стройная идеология теряет свою плотность, теряет серьёзность, и, в конце концов, перестаёт быть неоспоримой. Ни одна система, претендующая на универсальность, не может пережить соприкосновение с тем, что отрицает саму необходимость системы. Под натиском абсурда рушатся конструкции, возведённые из уверенности, и на их месте остаётся пустота, в которой можно различить не догму, а возможность.

Падение, воспринимаемое как провал, становится, вопреки ожиданиям, точкой нового зрения. Именно в тот момент, когда нет больше опоры, когда земля уходит из-под ног, и вся ложная устойчивость оказывается утраченной, взгляд поднимается вверх, незамутнённый ни страхом, ни гордостью. Оказавшись на дне, человек перестаёт стремиться казаться и начинает видеть. И впервые — видит небо, не как метафору, а как реальность, до этого закрытую стенами ожиданий и навязанных смыслов.

Смысл, столь долго воспринимавшийся как нечто абсолютно необходимое, и требующее следования, в сущности оказывается лишь орудием, доступным для

использования, но не наделённым властью над тем, кто его применяет. Он не повелевает, не навязывает обязательств и не требует подчинения. Его задача — не господствовать, а служить. Быть способом осмысливать происходящее, а не формой заключения, в которое заключён живой опыт. Освобождение начинается там, где смысл перестаёт быть догмой и становится гибким, подвижным, пригодным для отбрасывания, когда в нём отпадает нужда.

В этом отказе от поклонения смыслу рождается другая фигура героя — та, что лишена привычной позы, не требует сцен, не стремится к возвышению. Настоящая сила заключается не в борьбе за утверждение, а в способности склониться перед неопределенностью, принять её не как поражение, а как естественное положение вещей. Тот, кто отказался от роли, которую ему приписали, обретает подлинную независимость. Он больше не обязан оправдывать чьих-то ожиданий, не обязан быть сильным, смелым или правым. Его шаги свободны, потому что он перестал играть в навязанные игры, перестал бояться того, что не имеет правил.

В смирении перед абсурдом нет поражения — есть только спокойное узнавание собственной ограниченности и величия мира, не поддающегося контролю. Там, где заканчивается стремление объяснить всё до конца, начинается тишина, в которой слышно, как движется сама жизнь — бесцельная, но тем не менее настоящая.

Когда разум сталкивается с тем, что не поддаётся объяснению, когда рушатся схемы, и привычные

конструкции теряют опору, возникает не гнев и не отчаяние, а внезапный смех — как единственный ответ на невозможность охватить необъятное. Ирония, возникающая на границе между ожиданием и реальностью, становится не побегом, а способом прикоснуться к сути. Смех не пытается упростить, не стремится предложить выход, но, играя с нелепым и неожиданным, открывает путь к принятию. В смехе — лёгкость, с которой человек перестаёт быть узником смысла и находит радость в самом факте бытия, не требующем доказательств.

Смех становится формой ясности, не нуждающейся в категориях. Он не отрицает боли, не уходит от трагедии, но помещает всё в иной масштаб, где ничто не оказывается слишком важным, чтобы не быть и смешным. Через смех приходит согласие с несовершенством, с противоречиями, с вечным недосказанным. И именно этот смех, рождающийся не из поверхностного веселья, а из глубинного узнавания абсурдного, приближает к той силе, которую многие стремились назвать божественной.

Этот мир нельзя было создать всерьёз. Если представить Творца, то, возможно, он не тот, кто строго разделяет добро и зло в человеческом понимании, не жестокий вершитель судеб и не автор свода несносных законов, а скорее наблюдатель, в глазах которого мерцает понимание всей комичности бытия. Смеющийся — не потому, что всё насмешка, а потому, что всё — неожиданно, хрупко, и в то же время — невообразимо живо. Смех, в этом образе, не есть жестокость, а выражение нежности к несовершенному, признание того,

что ошибки и нелепости — неотъемлемая часть великой игры, в которую никто не был приглашён, но все оказались включены.

Иногда то, что называют безумием, является не поломкой, а способом сохранения. В моменты, когда реальность становится невыносимо плотной, когда вес происходящего давит на сознание с такой силой, что рушатся внутренние опоры, именно абсурдный сдвиг, отказ от линейной логики, может стать той трещиной, через которую проникает спасающее облегчение. Безумие, оторванное от рациональности, бывает не разрушением, а жестом милости — уходом туда, где мир перестаёт быть непереносимым, где восприятие искажает края, чтобы внутри них снова появилось место для дыхания. В этом нелинейном уклонении от нормы скрывается отказ подчиняться невыносимому, выбор в пользу жизни, пусть даже вне понятий о здравом.

На этом же фоне, где нет ни причин, ни обязательств, ни логических обоснований, возможна и любовь — обнажённая, лишённая условий, возникшая не потому, что «так надо», а вопреки всему, что мешает. Она не требует взаимности, не опирается на правила, не гарантирует безопасности. Но именно в этой хрупкости, в её полной незащищённости и непредсказуемости — подлинность. Любовь, возникшая в условиях абсурда, перестаёт быть контрактом и превращается в чистый акт свободы. Ничто не удерживает её, кроме самого движения навстречу, возникающего не по плану, а из глубины, в которой всё лишено оправданий.

И в этом же мире, не отвечающем, не ведущем счёта, не раздающем знаков, возможна молитва — не как просьба,

не как сделка, а как жест. Поворот взгляда внутрь, к тишине, обращённой не к фигуре, а к пустоте, в которой сохраняется смысл не в содержании, а в самом действии. Молитва без цели не становится бессмысленной — напротив, именно в глухоте слушателя проявляется её суть. Она — не стремление быть услышанным, а форма присутствия. И в этом присутствии, где нет ответа, но есть движение, сохраняется духовность — не как знание, а как состояние, не как вера, а как участие.

Вопреки первому впечатлению, абсурд не несёт с собой холода, не пронизывает безысходностью и не обрекает на пустоту. Он приносит особое тепло — не жар костра, вокруг которого собираются в поисках ответа, а мягкую, почти неощущимую тишину, в которой исчезает требование быть кем-то конкретным. В этом состоянии можно позволить себе незнание, не ощущая вины; можно быть неумелым, не испытывая стыда; можно отклоняться от чужих ожиданий, не обосновывая свой путь. Именно в отсутствии обязательной формы, в свободе от нормативного смысла, и рождается то редкое спокойствие, к которому тщетно стремятся через порядок.

Абсурд не оценивает, не сравнивает, не делит на правильное и ошибочное. Он просто присутствует — и в этом присутствии, почти незаметном, но устойчивом, чувствуется тепло, сродни тому, что исходит от кого-то, кто просто рядом, не требуя, не направляя, не исправляя. Это не утешение и не поддержка в привычном смысле, а согласие с тем, что несовершенное может быть цельным, непонимающее — значимым, случайное — достойным.

Такое принятие не нуждается в объяснении, потому что само его существование делает объяснение избыточным.

Дети, живущие в мире без последовательности и логической завершённости, невольно приближаются к тому состоянию, которое взрослые утратили, увязнув в схемах и структурах. Их восприятие не подчинено единой системе, их речь свободна от внутренней цензуры, их игры нарушают причинность, и именно в этом — не слабость, а особая святость. В их взгляде на вещи нет нужды в том, чтобы всё совпадало, им достаточно того, что мир существует и откликается. Они не требуют, чтобы день имел цель, а события — мораль. Их смех, их слёзы, их восхищение не нуждаются в оправдании, и тем ценнее становится то, как они умеют быть — просто, без претензий, без миссии. Это и есть язык абсурда — не как забвение смысла, а как возвращение к непосредственности, давно забытой, но всё ещё возможной.

Иногда именно в том, что на первый взгляд кажется нелепым, неуместным, несоразмерным, вдруг открывается подлинное. Не выверенные конструкции, не стройные объяснения, не последовательные логики позволяют приблизиться к живому, а детали, выпадающие из общей картины, те самые случайные фрагменты, которые словно забыли подчиниться замыслу. В этих странных изгибах бытия, в ситуациях, где ничего не складывается, где жест кажется лишним, а слово — не на месте, вдруг возникает щель, через которую пробивается свет. Он не ослепляет, не проясняет полностью, но его достаточно, чтобы почувствовать:

здесь что-то дышит, что-то не поддающееся описанию, но неоспоримо настоящее.

Нелепость, часто вызывающая улыбку или смущение, оказывается не изъяном, а знаком подлинности. Ведь именно живое несовершенно, именно настоящее не вмещается в идеальные формы. В кривизне, в беспорядке, в неуклюжем движении проявляется не слабость, а жизнь, которая упрямо не желает быть рационализированной. И потому, наблюдая или переживая подобное, вдруг вспыхивает не осуждение и не жалость, а тихая, необъяснимая благодарность — за то, что не всё подчиняется, не всё объясняется, что где-то рядом ещё осталось место для неясного, трепетного, живущего вне границ.

Горе и смех, такие разные по своей природе, порой возникают почти одновременно, переплетаясь в одно чувство, которое не имеет названия, но оставляет после себя ощущение пройденного. И именно там, где смешное оказывается слишком горьким, а боль — внезапно абсурдной, приходит то странное состояние, где внутри, несмотря ни на что, появляется желание сказать: спасибо. Не за страдание, не за нелепость, а за то, что всё это вообще возможно — чувствовать, удивляться, отступаться, теряться, находить себя не там, где искал. В самых неожиданных местах, в моменты, лишённые логики, открывается пространство, где чувство благодарности перестаёт быть реакцией и становится присутствием.

Желание быть собой, как и стремление не быть как все, порой становится новой формой маски — столь же

искусственной, как и та, от которой пытаются избавиться. Идентичность, будто одежда, которую долго носили, постепенно начинает срастаться с телом, внушая, что без неё невозможно движение. Но наступает момент, когда становится ясно: можно сбросить и эту ткань, оставшись не кем-то, а просто тем, кто есть — без закреплённого имени, без отточенной роли, без нужды подтверждать свою уникальность. Удивительно, но за границей привычного «я» не обнаруживается пустота, не раздаётся крик утраты. Напротив, там открывается лёгкость, в которой нет надобности удерживать ни образ, ни суть.

Смысл, прежде казавшийся необходимым якорем, теряет свою безальтернативность, а следом за ним и идентичность перестаёт быть неизменным условием существования. Отказ от неё — не падение в безликую массу, не распад, а освобождение от лишней серьёзности. Это не обнуление, а растворение в том, что живёт и меняется без необходимости называться. И в этом растворении — не трагедия, а пространство для дыхания, для того, чтобы быть без оглядки, не объясняя, кому и зачем.

На этом странном, зыбком фоне, где прежние ориентиры утрачены, возникает форма веры, лишённая основания, не нуждающаяся в доказательствах и не опирающаяся на догмы. Она не требует храмов, не зовёт к правилам, не строит лестниц в небо. Эта вера — как внутреннее согласие с тем, что невозможно объяснить, но можно принять. Абсурд, обнажая хрупкость всех конструкций, не убивает доверия — он лишь снимает с него обязательства. Уверенность, не поддержанная разумом,

остаётся; доверие, возникшее без причин, не исчезает. В этом и заключается странная, но настоящая вера без религии: не в кого-то и не во что-то, а в сам факт того, что даже в бессвязности может быть устойчивость, даже в хаосе — основа, пусть и неуловимая.

Когда исчезает необходимость строить планы, выстраивать цели, подчинять каждый шаг заранее определённой логике, жизнь перестаёт быть полем битвы за результат. Она становится чем-то иным — движением без маршрута, танцем без партитуры, в котором важен не исход, а сам ритм. Отказ от стратегии не равен отказу от смысла, как не значит и отказа от действия. Напротив, он возвращает к непосредственности, где каждое решение рождается не из расчёта, а из отклика на происходящее, из внимания к моменту, а не из страха не достичь.

Жить без стратегии — не значит отдаться хаосу, но перестать сопротивляться естественному течению. Не стремиться всё контролировать, не пытаться закрепить непостоянное, не сражаться за видимость устойчивости. Это жизнь, в которой проигрыш теряет значение, потому что сама идея выигрыша растворяется. Здесь не нужно побеждать, не нужно становиться «лучше» или «правильнее». Игра идёт ради самой игры, в ней нет финального счета, нет итога, который нужно увековечить.

В этом подходе появляется свобода: можно ошибаться без катастрофы, менять направление без объяснений, останавливаться без чувства вины. Не следя стратегии, не стремясь соответствовать заранее заданной фигуре,

человек становится подвижным, способным быть там, где он есть, не опаздывая, не спеша, не оглядываясь на то, чего ожидали. Игра продолжается, но теперь — без ставки на победу, без необходимости доказывать. Только движение, только участие, только возможность быть в этом — живом, зыбком, неуловимом — и потому реальном.

Когда рушатся последние стены, когда исчезают привычные смыслы, ускользает надежда, а тело уже не обещает возвращения — остаётся не пустота, но странное присутствие, которое нельзя назвать ни светом, ни тьмой. В это пространство, где заканчиваются слова и намерения, приходит абсурд — не как утешение, не как объяснение, а как последний, немой спутник, не обещающий ничего, но и не требующий. Он не приходит, чтобы отвлечь или утвердить, не приносит с собой образа будущего или образа вечности. Он просто позволяет принять то, что есть, без попытки изменить.

Абсурд, принятый в своей полноте, становится не только объяснением отсутствия объяснений, но и тихим, непретенциозным оправданием всего существующего. Он не требует доказательств и не предоставляет их. В его свете исчезает необходимость в оправданиях, потому что исчезает сама категория вины и должного. Если мир не построен на цели, если порядок — не изначальное условие, а времененная договорённость, если смысл — не встроен в ткань бытия, а создаётся изнутри — тогда каждое действие, каждая мысль, каждое отклонение от нормы уже не нуждается в подтверждении своей правомерности.

Внутри абсурда нет высшего суда, нет последнего вопроса, к которому всё сводится, нет внешнего

критерия, способного признать жизнь «правильной» или «ошибочной». Остаётся только факт: оно случилось. Быть — уже достаточно. Дышать, идти, оступаться, молчать, смеяться, страдать — всё это обретает оправданность просто потому, что возникло в мире, где ничто не обязано быть другим.

Такое оправдание не снимает последствий, не превращает боль в радость, не заменяет тяжесть лёгкостью. Но оно освобождает от вторичного давления — от чувства, будто всё происходящее должно соответствовать чему-то вне себя. Абсурд позволяет оставить в стороне представление о некоей высшей линии, которой нужно следовать, чтобы «жить правильно». Если смысл не гарантирован, то и грех — не универсален. Ошибка перестаёт быть преступлением. Жест — становится просто жестом.

В этом и заключается сила абсурда как тотального оправдания: он не оправдывает в логическом смысле, он просто убирает вопрос. И, убрав его, оставляет человека наедине с жизнью, которую больше не нужно заслуживать.

Абсурд, как безмолвное основание мира, оправдывает не только само бытие, но и тех, кто в нём оказался. Он оправдывает нас — как вид, как поколение, как беспокойную, ищущую, ошибающуюся совокупность тел и голосов. Оправдывает нам — не в смысле прощения, не через признание заслуг, а через простое: вы есть, и уже этого достаточно.

Мы не выбирали появляться на свет, не знали, как действовать, получали противоречивые инструкции, а чаще, и вовсе, не имели инструкций. Мы не знали, каким быть человеком, что считать благом, зачем говорить, и

как молчать. Всё было неясно, подвижно, придумано в процессе. Мы строили убеждения, как плотины на рыхлой земле, стараясь удержать течение, которое не спрашивало, куда ему идти. И в этой самой неуверенности, в этой постоянной недосказанности — уже было оправдание.

Абсурд не требует, чтобы мы были лучше. Не требует, чтобы всё имело смысл, развязку, результат. Он не зовёт к идеальному, потому что само представление о совершенстве — тоже один из наших вымыслов, рожденных от страха. Он говорит: так и должно быть, что ничего не должно. Всё, что было сделано — сделано в условиях невозможности знать, что правильно. Все поступки — внутри непонимания. Все слова — среди тишины. И потому мы — не виноваты в том, что мы есть.

Это не оправдание как поблажка, не снятие ответственности, не попытка скрыться от последствий. Это — возвращение человека к себе, без постороннего суда. Мы не обязаны быть ясными. Нам не обязательно быть понятными. И если мы снова ошибёмся, снова заблудимся, снова будем любить не тех, молчать не тогда, идти не туда — в этом тоже будет не грех, а форма бытия. Абсурд принимает всё, не потому что одобряет, а потому что ничего не исключает.

То, что было здесь сформулировано, дышит тем же воздухом, что и мысли Альбера Камю — воздухом тишины после разрушения, воздухом мира, лишённого оправданий и целей, но не лишённого достоинства. Мысль Камю и эта последовательность рассуждений сходятся в самом главном: в признании абсурда как

основной ткани человеческого существования. Оба подхода отказываются искать примирение там, где его нет, и оба стремятся оставаться лицом к лицу с миром, который не отвечает.

Но между этим и Камю — есть различия, и не столько в сути, сколько в интонации, в расстановке акцентов, в направлении взгляда. Камю, утверждая абсурд, стремился сохранить в человеке вертикаль: он видел в признании абсурда вызов, на который нужно ответить с гордо поднятой головой. Его фигура — человек, который знает, что смысл невозможен, и всё же живёт так, словно он возможен, зная, что побеждает не результат, а мужество оставаться на сцене при пустом зале. Это — вызов без надежды, осознанное «нет», сказанное в пустоту, и именно в этом — его величие.

Здесь же звучание иное: абсурд не только вызов, но и среда. Не враг, которого нужно обмануть, не буря, которую надо пережить стоя, а океан, в котором можно плыть, не стремясь выйти на берег. Здесь нет необходимости сохранять напряжение. Вместо героизма — принятие. Вместо борьбы — участие. Не отрицание смысла, а согласие с его хрупкостью. Если Камю держит руку на веслах, чтобы идти против течения, то здесь — разрешение отпустить руки и почувствовать, что течение и есть жизнь, что сопротивление не обязательно для достоинства.

И потому можно сказать, что это не противоречит Камю, а расширяет его. Камю оставался в поле трагического, где человек остаётся один, но не отступает. Здесь же — движение к мягкому, к бытию без формы, но с

присутствием. Камю — это скала Сизифа. Здесь — свобода, которую Сизиф мог бы однажды увидеть, опустив камень. И не потому, что победил, а потому что понял: можно не бороться, чтобы быть живым и счастливым.

Абсурд остаётся, когда всё остальное покинуло — когда вера истощилась, когда логика иссякла, когда даже страх перестал говорить. Он не спасает, но и не судит. Он не указывает, но и не ведёт в пропасть. Его молчание — это согласие с тем, что быть может не иметь продолжения, и что в этом — нет трагедии. Оказавшись в самом конце, у предела, человек вдруг перестаёт нуждаться в ответах. Появляется покой — не как награда, а как отсутствие необходимости знать.

Ничего не должно быть. Ничего не обязано объясняться. Ничего не обязано завершиться смыслом. И когда это становится не идеей, а внутренним знанием, отпадает тревога, с которой всё начиналось. Жизнь, прожитая как вопрос, не требует теперь ответа. Даже в последнем дыхании остаётся возможность не стремиться никуда — просто быть, даже если это быть обрывается. Абсурд, оставаясь рядом в этой тишине, не делает прощание тяжёлым. Он позволяет ему случиться.

Когда всё было пересмотрено, отвергнуто, пережито и отпущено, когда истины утратили вес, а поиски обернулись кругами, не ведущими к центру, остался только этот последний шёпот, произнесённый почти беззвучно — абсурд победил. Не как завоевание, не как торжество над чем-то, а как естественное завершение бесплодной борьбы. Он не требует флагов, не нуждается

в доказательствах, не ждёт признания. Его победа — в тишине, в освобождении от необходимости понимать, от попыток достичь, исправить, заслужить.

И это оказалось хорошо. Потому что вместе с победой абсурда исчезло напряжение, исчезла суeta выстраивания смыслов, исчезла тревога быть не тем, не там, не в то время. Осталась возможность дышать — свободно, не потому что позволили, а потому что больше не нужно было сдерживаться. Просто жить, не объясняя, зачем. Просто чувствовать, не ища подтверждений. Просто быть, зная, что этого достаточно.

Там, где прежде стояли громоздкие конструкции — идеологии, роли, страхи, — теперь лишь простор, в котором ничего не закреплено, но всё возможно. Не потому, что так устроено, а потому, что больше нет нужды в устройстве. Жизнь не нуждается в оправдании. Сама её непредсказуемость, её нежданность и её неустойчивость — и есть её достоинство.

Абсурд не отнял смысл, он вернул дыхание. И когда последнее слово не требует продолжения, книга замолкает не в абсурде пустоты, а в полном, настоящем молчании.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Butler, J. (2004). Precarious life: The powers of mourning and violence. Verso.
2. Butler, J. (2005). Giving an account of oneself. Fordham University Press.
3. Camus, A. (1942). The Myth of Sisyphus. (Trans. J. O'Brien). Vintage International.
4. Carleton, R. N. (2016). Into the unknown: A review and synthesis of contemporary models involving uncertainty. *Journal of Anxiety Disorders*, 39, 30–43.
5. Deleuze, G., & Guattari, F. (1980). A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. University of Minnesota Press.
6. Derrida, J. (1967). Writing and Difference. University of Chicago Press.
7. Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change (2nd ed.). Guilford Press.
8. Heidegger, M. (1962). Being and Time (J. Macquarrie & E. Robinson, Trans.). Harper & Row. (Original work published 1927)
9. Herman, J. L. (1992). Trauma and recovery: The aftermath of violence — from domestic abuse to political terror. Basic Books.
10. Hirsh, J. B., Mar, R. A., & Peterson, J. B. (2012). Psychological entropy: A framework for understanding uncertainty-related anxiety. *Psychological Review*, 119(2), 304–320.

11. Linehan, M. M. (1993). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. Guilford Press.
12. Merleau-Ponty, M. (1945). Phenomenology of Perception. Routledge.
13. Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. *Self and Identity*, 2(3), 223–250.
14. Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. *Psychological Bulletin*, 136(2), 257–301.
15. Sartre, J.-P. (1943). Being and Nothingness. Routledge.
16. Spinelli, E. (2005). The interpreted world: An introduction to phenomenological psychology (2nd ed.). Sage.
17. Veena Das. (2007). Life and Words: Violence and the Descent into the Ordinary. University of California Press.
18. Yalom, I. D. (1980). Existential Psychotherapy. Basic Books.
19. Kriger, B. (2024). Rethinking the absurd beyond Camus: An ethical anthropology of unchosen existence / Absurdity as ontological justification: From existential defiance to phenomenological acceptance. The Common Sense World.